



АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ

**А
Н
Г
А
Р
Ы**

Алексей Парщиков

Ангары

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27050661

Ангары:

ISBN 978-5-91627-190-4

Аннотация

В книгу легендарного поэта-метареалиста, одного из основателей издательского проекта «Русский Гулливер», вошли стихи разных лет, а также эссеистика, впервые собранная под одной обложкой. Иосиф Бродский называл Парщикова «уникальным поэтом по русским и всяким прочим меркам масштаба», Виктор Соснора ценил «предметность» этой поэзии, рассматривающей каждую вещь «зримого мира» заново, Аркадий Драгомощенко видел в нем поэта, «спрессовывающего совершенно различные коды в гремучее вещество риторики». Книга составлена самим автором и выходила в нашей серии в издательстве «Наука» в 2006 году, при жизни поэта. Это ее первое переиздание.

Содержание

| | |
|------------------------------------|----|
| За окоёмом нервных окончаний | 8 |
| Нефть | 8 |
| 1 | 8 |
| 2. Долина транзита | 12 |
| Из цикла ДИРИЖАБЛИ | 16 |
| 1. Отбытие. Лотерея | 16 |
| 2. Сельское кладбище | 19 |
| 3. Ангар в сумерках | 28 |
| 4. Титонус-цикада | 29 |
| 5. Расписание | 31 |
| 6. Бумажный змей | 35 |
| Румфиус1 | 37 |
| Землетрясение в бухте Цэ | 40 |
| Лиман | 45 |
| Манёвры | 46 |
| Минус-корабль | 48 |
| 1971 год | 51 |
| Дорога | 53 |
| Я выпустил тебя слепящим волком... | 54 |
| Две гримёрши | 55 |
| Сон | 57 |
| Из цикла СОМНАМБУЛА | 58 |
| 1. Сомнамбула пересекает МКАД | 58 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 2. Сомнамбула и Афелий ² | 59 |
| 3. Сомнамбула | 64 |
| 4. Другой | 65 |
| 5. Добытчики конопли | 67 |
| Шахматисты | 71 |
| Сом | 73 |
| Мемуарный реквием Зубареву | 74 |
| Стеклянные башни | 82 |
| Горбун | 85 |
| Жужелка ³ | 86 |
| Бессмертник | 88 |
| Тренога | 90 |
| Пустыня | 91 |
| Сцена из спектакля | 92 |
| Пётр | 93 |
| Из города | 94 |
| В домах для престарелых... | 97 |
| Чёрная свинка | 99 |
| Псы | 101 |
| Багульник | 103 |
| Волосы | 104 |
| Угольная элегия | 105 |
| Реальная стена | 107 |
| Лесенка | 108 |
| Тикает бритва в свирепой ванной... | 110 |
| Львы | 111 |

| | |
|--|-----|
| Еж | 113 |
| Из наблюдений за твоей семейной жизнью | 114 |
| Мне непонятен твой выбор | 115 |
| Удоды и актрисы | 116 |
| Паук | 119 |
| Тип. Октябрь | 122 |
| Я жил на поле Полтавской битвы | 123 |
| Вступление | 123 |
| 1.1. Глава первая, в которой повествуется о происхождении оружия | 126 |
| 1.2. Первая пушка | 128 |
| 1.3. Ягнёнок рассказывает о распре двух братьев, которые пытались поймать его для жертвоприношения, и о том, как родился нож | 130 |
| 1.4. Первое деловое отступление, написанное в моём саду, расположенном на поле Полтавской битвы | 133 |
| 2.1. Глава вторая. Битва | 136 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 140 |

Алексей Парщиков

Ангары

«Алёша, Вы – поэт абсолютно уникальный по русским и по всяким прочим меркам масштаба. Говоря «поэт», я имею ввиду именно поэзию и, в частности, Ваши метафорические способности, их – Ваш – внерациональный вектор. Они в Вас настолько сильны, что, боюсь, доминируют в стихе в ущерб слуху.»

Иосиф Бродский – Алексею Парщикову

«Алексей Парщиков являет собой не только поэта, но и «практикующего теоретика», поскольку рефлексия о новых смыслах вплетена в строки его стихов, как цветная нить в канат, но никогда она, даже иронически освещаясь (отсюда юмор и свобода смеха над собой), не становится декларацией и декламацией поэтических тезисов. Здесь нет проб, здесь – утверждение постулатов».

Владимир Аристов

«...С хищным кружением Алексея Парщикова, раскрывающего с нескрываемым и даже злорадным наслаждением перепончатые веера мифов в вязком пространстве знания и восприятия «конца – начала», – поэта, спрессовывающего совершенно различные коды в гремучее вещество риторики, заплетающей намерение в предмет...»

Аркадий Драгомощенко

«Главное в творческой манере А. Парщикова – видение мира в его предметности. Не просто в ординарной перечисляемости предметов, нет, каждый предмет зримого мира он старается рассмотреть по-своему, оценить его поэтически, переосмыслить и полюбить заново».

Виктор Соснора

«Поэт, который наблюдает «вывих тяжелой, как спущенный мяч, панорамы» («Лиман») никогда, даже на мгновение не поддается жалости к самому себе».

*Маржори Перлофф, историк литературы, профессор
Стэндфордского университета, Калифорния*

За окоёмом нервных окончаний

Стихотворения и поэмы

Нефть

поэма

1

Жизнь моя на середине, хоть в дату втыкай циркуль.
Водораздел между реками Юга и Севера – вынутый километр.
Приняв его за туннель, ты чувствуешь, что выложены впритирку
слои молекул, и взлетаешь на ковш под тобой
обернувшихся недр.

И вися на зубце, в промежутке, где реки меняют полярность,
можно видеть по списку: пары, каменюги и петлистую нефть.
Ты уставился, как солдат, на отвязанную реальность.
Нефть выходит бараном с двойной загогулиной на тебя,

неофит.

Ты ли выманил девушку-нефть из склепа в сады Гесперид
белым

наливом?

Провод ли высоковольтный в купальню упал и оцепенело
кино?

Оседает труба заводская в чехле под направленным
взрывом.

Нефть идёт своим ходом глухим, вслед за третьим,
которого не дано.

С этой нефтью, как с выпуклым зеркалом, – словно игры
с орлом

без перчатки:

ты качаешься – ближе и дальше – от клюва его увильнув.
Не даёт разойтись на заблёванной синей вагонной
площадке.

И похожи, как две капли нефти, капля нефти, бассейн с
хусейном и Лувр.

Ты прошёл эту стадию на цыпочках по указке
аравийского властелина,
ведомый за волосы по отвесу, где выжить не предполагал.
Стоя на кадыке, а проверить – на точке плавления
парафина,
ты вцепился в барана подземного и – ввинтил ему по
рогам.

Как кувшины, в кладовую тьму уходя, острые ставят на
ней пятёрки,
ободками вещей в моей жизни запомнилась первая треть.
Скрыты убийцы, но их ребристые палки, как неонки,
оттеняют подтёки.
Пальцы Тюльпа бродят по моргу, тычут в небо и находят
там нефть.

И когда она вышла на волю, применила с черня она
онемение,
так светлеет песок под стопой и редееет после взрыва
толпа.
Перебежки ракушек и вспышек под серпами затмения,
наползание почв крупным планом... И ты понял, куда ты
попал...

Ты бы в бочке белил её утопил, но ответил её абсолютным
безделием,
ты прервал свои поиски и отключил зеркала в непохожих
вещах,
и пока она медленно шарит, подобно в Бермудах
бессвязным
флотилиям, осторожно, как иглы меняют в отхожих
местах,

и пока она ставит баррель на баррель свои желтоватые
башни,
и пока она на верёвочке водит самонапрягающееся
слепое пятно

серебристых хранилищ, схлопнувшихся в направлении
внешнем,
и пока на изнанке твоей лобной кости она пробегает
диалоговое окно,

и пока её пробуют пальцем татары и размазывают по
скулам,
и цивилизации вязнут в ней, как жучки, попавшие в
интернет,
пока мы приклеиваем лепестки на носы, валяясь по
нефтью залитым

скалам,
и пока постель наша пахнет нефтью, что – удвоенный
бред,

и пока в длинном платье с высокой причёской ты похожа
на ложку —
так наивно срисую, – пока чувствуешь под каблуком
нефтяной запас,
пока царствуешь, злясь на себя, существуешь,
царапаешься немножко, —
разновес расстояний – в пользу нефти, разделяющей нас,

там, где реки друг к другу валетом слушают колокольцы
Валдая,
пока сон заставляет жевать стекло, но следит, чтоб его ты
не проглотил,
сердцевина Земли тебя крутит на вагонных колёсах, сама
собой не владея, —

нефть подступает к горлу. Её на себя тянет, к ней жмётся прибрежный ил.

2. Долина транзита

Шакал и ворона: ни внешней, ни внутренней крови меж ними. Вдали нарисован дымящийся динамит. Их контуры на честном слове уже наготове покинуть ядро черноты и принять незаконченный вид.

Над ними баллоны с речами дрейфуют – листается комикс на пляже остистом, подветренном. Заперся грот-новодел. Разведрилось. Стало понятно, что врытый по пояс фотограф был сварен из бронзы, и ни на кого – наводил.

Я спрятал оружие, связь отключил и свернул в Долину Транзита. Прощай, побережье смешное! Чего я искал? Альтдорфер не скажет, и Дарий. По зеркалу заднего вида хромала ворона, клевал и маячил шакал.

Долина в горах пузырилась и напоминала соприкосновение пауз. Пчела над обрывом, внизу – полигоны гладиаторских школ. Стекляшки подстанций и трубопроводы за ярусом ярус.

И ртутные лифты с тенями нефтяников штырями
усеивали котёл.

Как два электронные скрутня, заметив друг друга,
пропали
взаимно две тени – ворона и, чуть задержавшись, –
шакал;
как две электронные даты, ознобно стирая детали...
Долина, напротив, раскручивалась, и припоминала
аркан.

И каждый участок района был точно вменённый в
разметку,
он пуст был, но и, сверх того, на чудесный порядок
пустей,
как кубик, который всегда на шестёрке, внушает догадку
о мнимости как бы пяти остальных плоскостей.

Изъятые частично: постройки, развязки, проходы и
вышки.

И эта изъятость царит и дует в подпольный манок.
Двойник ли, свисая с орбиты, хватал человек под
мышки:
за локти – в замок и – в потёмки (как через борта – на
полок).

В дверях арсенала провидица явилась, стакана не допила,
и так неуверенно, словно по глобусу пальцем ведёт
и путает авиалинию с маршрутом подводного кабеля

(а в этой растяжке сознания ни шагу не сделать вперёд),

«Мы ждём приближения нефти, – сказала, чертя пирамиды на воздухе, – остальные обжили ржавеющий флот, в акустике танкеров сонных, пока мы в Долине Транзита, скользят по мазуту и в перегородах вешаются через год.

Другие в ущельях кочуют и здесь появляются редко: прекрасное ловят мгновенье – и эта задача проста — кто может из правильной пушки выбить центральную скрепку

арочного моста».

Бесхозная, в стратосфере зависшая на отметке, где ещё рано для парашюта, в летаргической высоте, эта долина, разбитая на кривые клетки, похожа на дирижабль с солнечной батареей, на полухолостом винте,

с терпением геологическим, с опорой на ожидание, с истерикой, что не отнять, когда уже вспыхнула сеть: соляризованное изображение короткого замыкания долины, облившейся нефтью, верней – опрокинутой в нефть.

Здесь роль астронома и историка мне показалась притворной.

«Нефть, – я записал, – это некий обещанный человек,

заочная память, уходящая от ответа и формы, чтобы стереть начало, как по приказу сына был убит Улугбек».

Из цикла ДИРИЖАБЛИ

1. Отбытие. Лотерея

Мы утром не созванивались, чтобы новости
нас не отбросили назад в слепую яму.
Как вдруг в окно на робкой скорости
боднулась тупоногая махина, надламывая раму.

И поплыла в затылок мне, не подавая вида,
что вписывает путь в свою окружность.
Нас обгоняли тягачи графита,
велосипеды с нитками цепей жемчужных.

Нас ожидал банкет и музыканты на аэродроме.
Пилот проекта, я был первым на примете.
Мой строгий аппарат всплывал в разломе,
меж двух столетий в эллипсном просвете.

Мы взяли курс на верфь под знаком Водолея.
На дирижабле – сервер. Тьма в заметной лихорадке.
Спокойны только солнечные батареи,
как мельниц водяных – рассохшихся – лопатки.

Когда мы приземлялись, все головы задрали,

корабль обомлел, но шёл по линии отреза.
Толпа уставилась наверх ноздрями,
толпа смотрелась, как большая пемза.

Отпущена в простор верёвочная лестница
булящим лотерейным барабаном:
он муфтой смутной стынет и мерещится,
(шушукаются пальцы во мраке вороватом).

Я различал уже заправку, столб, колосья,
и розы на столах вибрировали так опасно,
что если б накренился – накололся.
Но, стравливая газ, корабль освобождался от балласта.

Он опустел до чертежей, он дал свечу над улицами.
Он избоченился плашмя и выпукло, и вогнуто.
Как длинное пальто с оборванными пуговицами,
летя, мерцает рожками. В него вцепилось облако.

Мы забирали вверх, мы забывались вверх, в гондоле
мигала на экране кибернетическая лотерея.
В обнимку с призраком радар на лётном поле.
Два залпа-льва, к нам подбежав, нить потеряли и
перегорели.

Подальше от Земли! Она растёт в объёме,
к Луне навстречу. Шепчутся раскопки,
наслаиваясь в полудрёме.
И глобус – утолщается. И тянется сквозь телескопы

зябко.

За воздух можно ухватиться ртом. И парусом.
Без рук лететь веретеном. Баланс – единственная сила.
Шёл жук по носу одного из янусов,
и время – перекосило.

И дирижабли древние показывались на вершине,
обугленные гинденбурги поленьев чёрных.
Француз тик-так с пропеллером на часовой пружине,
австриец запрягал в аэростат орлов учёных.

Подзорная труба Москва-Смоленск наклонно
вперится в дирижабль крестьянский на насесте.
По сжатому лучу доставит голову Наполеона,
его ботфорты (полшага вперёд) останутся на месте.

Как близко в воздухах и ярусный и арчатый,
похожий на театр! А дальний – крапинка на ветре.
Он кажется задержанным стеклянной палочкой
между частиц, снующих в чашке Петри.

А лотерейный барабан наращивает обороты,
сжимая время рёбрами и повышая шансы.
...И кутались на палубах пилоты,
метая бомбы в Лондон, дыша на пальцы.

Шелчки прозрений, сухопарые машины,
то по небу слоняются одне, то в круг сбиваются, немея.

На грани срыва эти нервные страшили.
Мой дирижабль на приводе тянула лотерея.

Кружащийся октаэдр! Так, в центр встав, пацанка
угадывает (на глаза повязана косынка),
кто к её горлу прутиком касался,
спугнул ключицу, слух увёл вслед за блуждающей
ворсинкой.

Я мог бы подобрать любой пароль для сервера.
Всё ближе к цели, всё точнее ответ, как мячик на
резинке,
или круги бегут обратно к центру озера.
Я банк срывал на сайте казино, и напрягались рынки.

И молча в люк открытый взирали адмиралы,
корабль воздушный проводя над тусклыми горами.
Выигрывала лотерея, сбиваясь с хода и замирая.
Со мной расплачивались – богами.

2. Сельское кладбище

Когда я покидаю дом свой, с огромной кухней, с кортами
и лабиринтом спален,
и медленно шагаю по дороге, откуда полстолетия тому
везли разбитый наш корабль на бричке, по частям, –
навален

бег подколенных впадин по горе отверстий, – я весь в дыму.

Надтреснуты движения коней, их путь – обман, червячная ступенька.

Так вот что получилось из моих застенчивых работ...

Сухой проект в моём уме возник на четвереньках, так мог бы на попу встать спичечный упавший коробок.

Как представляли смерть мои коллеги? Как выпадение из круга?

Поверили, что их вернёт назад, когда теряли высоту?

Что их пропустит твердь, как вынимаются со свистом друг из друга

два встречных поезда на длинном, трассирующем в ночь мосту?

Нет, в шляпах, привязанных шнурками к подбородкам, они смотрели вбок, где томный взрыв ещё держался в стороне

учебной куклой на спине, затянутой среди реки в воронку...

И ящерицы с языком в губах на берегу приплюснуты к стене.

На поле кринолины говорили, что, даже до зенита не доехав,

окаменел чеканный дирижабль – он прозевал Медузу в облаках.

Загар у велосипедисток йодист, можно подумать –
сборщицы орехов,
они забылись в спортивных платьях и мельхиоровых
очках на лбах.

Я помню аппарат д’Эскупели, ту лестницу, заломленную
за спину,
ту винтовую, что с винтом он спутал, переминаясь на
скале.

Как стеклоочиститель испаряется, воздушных змеев
вымерла династия.

Аэроплан кружит на прежнем месте, им протирают грязь
на ветровом стекле.

Теперь по фотографиям горчичным представить трудно
бирюзовый,
определённый цвет их праздничных гондол и ленты на
ветру,

но ясно, что их дирижабль – сыпуч и что слоисты их
комбинезоны.

Когда тела с земли собрали, их отпечатки заполнились
водой к утру.

За окоёмом нервных окончаний природа берёт начало. В
темноте провисла
долина – нам не по росту. Чем дальше едет по объективу
зум,
тем ближе и напористой деталь. Тем безвозвратней
западение смысла.

И каждый лупоглазый атом неуязвим, толкаясь наобум.

Спокоен вечер. Тих глагол. И осмотрительнейший
остролист в коллапсе.

И шорохи, как в классе рисования – ушную раковину
воспроизвести.

Букашка движется по горизонту; никто не смеет
сосчитать ей лапки,
никто. Паромщик поднял над водой весло, однако же, не
стал грести.

Прямоходящая овечка, вся на копытцах лёгких, из
дальнего овина,

бежит по небесам, и голову поворотив к хвосту,
и на носок переходя, юлит, пытаюсь в зеркало увидеть
спину.

О, где сейчас Пармиджанино, чтоб удлинить ей шею на
лету?

На кладбище химически-зелёном я памятник воздвиг
походный, шаткий.

На стенках начертил я воздуха баллон.

Гадаю по теням – они раскиданы по плоскостям палатки,
как инструмент складной, где 36 приборов открыты под
углом.

Кусачки, пилочки, консервные ножи, и прогибается
лазурь на лезвии

горбатом,

коловороты, лунки для ногтей, отвёртки и крючки...

Кто вырежет пропеллер по дуге, кто из обрезков соберёт Бильбао.

За лопастью, вздуваясь куполами, вселенная перебирает намеренья своей

руки.

Нередко их воздушные шары не виртуозы вели над пригородами и —

приземляли.

Шар выпускает шум из оболочки, кривясь по сторонам.
В охапку ловит мнимый позвоночник. Внутри поставленные под углом

педали

толкаются, и вот — шар распростёрт и по нему проходит стратонавт.

Навытяжку в автомобилях — стоя, и улицы в листовках — сыпаясь,

там гипсовая ГЭС пошла в размол по перфорации на небе и в кино.

Средь всадников, фотографов, детей — Васенко, Федосеенко, Усыскин.

И профиль каждого поддернут за края навстречу фразе «и никаких но».

Зачем голубоглазые хирурги вошли направо в тело тонкой платиной,

налево — мастера с бальзамами, а в лоб — гипнотизёра

матовая трость?

Хотели вновь вернуть к рулю воздухоплателя,
но он разваливался, ник и загрузал в ячеистых снастях
устройств.

В другой стране в другие времена он охранял бы в ряд
стоящие армады
бездействующих лайнеров, они – ждут распродаж, а он в
компании собак
прожектором тянул по плоскостям и опускал бы жалюзи
Невады,
где на открытых складах фюзеляжи схватил в обlipкy
овальный лак.

А может, он беглец по крыше, все – за ним, и низкий
ветер заужает лужи,
вооружая луками, а он, вися, кренит за кромку
небоскрёб?

Он в тишине кроил свой дирижабль и в титрах фильмов
не был обнаружен.

И жгутики от ластика сдувая, он ввёл в чертёж рефлексy
недотрог.

Он изумлялся. Он писал Николо Тесле: «Планеты
озарятся. Оболочки,
заряженные мертвецами, вспыхнут – катушка даёт
пробой в витке.

Кто свяжет землю с небом напрямую, если не мёртвый
лётчик?

Шахтёр на короточках в забое напоминает знак молнии на электрощитке.

Рельефы, истуканы, плиты, алтари, но отвернись – они работают локтями,
срываясь и сбега в высоту быстрее угрюмых обезьян;
кто не прошёл естественный отбор, тот втихомолку проволоку тянет
вокруг себя, и виден клейкий ток, чтобы ограды не перелезал.

Но всё ж упорный свет исторгнется из недр, и глобус распрямится,
как если в скомканную трубочку подуть,
клубок расправится, покажет всем язык и вытянется единица,
и по оставшимся под нами облакам мы рассчитаем путь.»

Всем не успеть за Жаком и Жозефом, хотя в их голове не меньше веры
в то, что сигарный дым, наполнивший конверт, его утянет к потолку.

– Бумага не для букв, пишите на камнях, – снимая котелки,

взлетели Монгольфьеры.

Мануфактура сведена с гравюры. Суфлирует Борей надгробную строку.

С полсотни бочек на дворе с железной стружкой. И щипет

аммиак нахальный,
поэтому все маскаш. Кислота металл кусает за изнанку,
виясь в трубе.

Есть водород, что чувствует опасность острее, чем Орфей
в кольце вакханок.

И голый человек специалистам показывает схему на себе:

верёвка, протянутая от запястья к локтю. Обводит шею.
Крепится двукратно
беседочным узлом. Спускается к другому локтю.
Перехват
через запястье к пояснице. Узел, чей ходовой конец идёт
обратно
навстречу коренному. В этой клетке тела свободно реют,
говорят.

Не раз я замечал: с его очков срывался лётный стадион,
и толпы обрушались
сектор за сектором, когда он поднимал лицо и что-то
вспоминал.

Не раз я замечал – из города к утру он возвращался на
воздушном шаре,

Однажды он стоял пешком на небе, крутя свой
дирижабль,

чтоб

въехать в терминал.

Свидетельствую: в баре автоматы его передавали по цепи
и сбрасывали

у библиотеки.

И снились полевые тюрьмы, сварганенные наскоро в степи

из ржавой рабицы, и вывихнутый остов дирижабля, перегораживающего

реки,

и панцирная сетка в мелководье, с кратчайшими путями для мальков. Спи.

Не раз я замечал, он выходил из дому, подтянут и одновременно робок,

с рулоном чертежей и деревянным кофром на ремне.

И травы, как огромные плакаты, сорвавшиеся с верхних кнопок,

сгибались перед ним, и он шептал, уставясь на трещины в открывшейся стене.

Он вдруг исчез, я не встречал его и не искал, спускаясь ли по лестницам

на землю,

осматриваясь на дороге или в гостиницах, перебирая дни.

Но вертикаль топорщилась гармошкой, словно заехавший на зебру,

и пятилась. По Иоанну, он позади себя и впереди.

Я больше не искал его следов, явлений света, свойственного нимбу,

пока однажды летом в Сан-Франциско, где в баре «Розы и Чертополох»

на ламинированной утренней газете нам подали
оранжевую рыбу,
меж рёбер этой океанской твари я рассмотрел обычный
некролог.

Перезахоронение. Могила – пуста. Исследована. Взяты
пробы грунта.

Пусть обитатель был присвоен небом, никто не обижал
ни знак, ни прах.

Он получил во мне не только друга, я бы сказал –
надёжного агента.

Я оценил и радиус и угол, подмятый заворотом тяги –
перемещения

в других мирах,

где галереи тихих дирижаблей, ещё не сшитых по краям,
и ткани

кольшутся на поводу дыхания, они нас выронили на
траву.

И планерная нега проникает виски, ландшафт на
клеточной мембране,

где в башне с отключённым телефоном я слушаю сквозь
плющ

пустынную сову.

3. Ангар в сумерках

Рога ангара воткнулись в поле.
Шок высоты, где вещества – разжаты.
Зияет сектор лобной доли
полупостроенного дирижабля.

Мы легче воздуха и по горизонтали
свободно падаем. Мы заполняем складки, уголки.
Пустея вдоль, как стёкла на вокзале.
И дирижабль плывёт и из-под брюха выщёлкивает
огоньки.

Кто прятал днём под сварочным щитком
свой маркий мозг? В кармашки вдеты
опаловые инструменты. Целиком
ангар рассеялся. И роботы, оцепенев, поддерживают
валкие пакеты.

Ангар погас, пропал. Но всё же что-то движется в ангаре
от зоны к зоне, от сих до сих.

– Что вертишь головой? Что ходишь вверх ногами?
– Я ищу лики святых.

4. Титонус-цикада

Эос встаёт, два британских историка приземляются в
Кельне.

Бореи с заячьими губами дуют на старую карту в обе

щеки.

Улыбаясь, коллеги спускаются в прямогоугольный,
лазурный архивный зал. Словно кровельщики,

их перчатки хлопчатые ползают по скатам футляра,
ощупывая картонаж, а под ним – по оценкам – цыганка.
Двигается египтянин, как по верёвочным лестницам, с
камнем загара,
наискосок, по частям. Скаважистые обломки и где-то
вдали – цикада.

В слоях футляра найден папирус с записью жалоб Сапфо.
Плач, спрессованный под слоями наката.
Забытая мумия периода Нового царства
вспоминает мелкую сеточку для волос, которая на слух
– цикада.

В слово Эос вкатывается школьный глобус,
когда сквозь экватор ты смог дотронуться
до оси и обвёл полушария – получается монограмма: Эос.
В минусовые времена в Эфиопии она с Титонусом

шлёт прошения о его бессмертии и получает «да».
Высшие забывают купировать ген старения и распада,
и Титонус с Альцгеймером из городка Висбаден
незаметно заброшены на дирижабль – в башню льда.

Звук цикады выходит из ниоткуда, отчуждаясь в зёрнах
феррита.

Т-сс: рыжую пудру счищают бумажной салфеткой, или пачка купюр с оттяжкой спружинит по пальцу – и шито-крыто.

Титонус, себя ощупав, обнаруживает цикаду на ветке.

Он забывается, будто тело его из тысяч кармашков...

Где? В каком? Тьмы подглазных мешочков, но глаз не найти в них.

Два британских историка над Ла-Маншем пропадают в пространствах нефигуративных.

5. Расписание

В. Х.

Капли дождя над морем большие, как вниз черенком отвёртки.

В мягком наплыве усадьба и панорамы без чётких границ.

Плащ её длинный между деревьев по ходу меняет оттенки.

Что-то в ней от офицерской линейки – в повороте эллипсов и ресниц.

– Мне надоело, – она говорит, – быть колесом во прахе, заложницей

лотереи.

Случай меня поджигает и, забегаая вперёд, держит – на неподвижной оси.

Листаю «Историю дирижаблей» – исполинские оболочки падают

на колени,
переламываясь о землю, качаясь и вспыхивая – хоть святых выноси.

Выносят святых. Лотерейные барабаны – вращаются.
Катастрофы

величавы, если выпарить звук и чёрные дыры – стравить.
Геодезисты глядят друг на друга в упор, по карманам тротил расфасован...

Запросто выкинуть руку вперёд и Солнце остановить.

Двигается вместе с Землёй корабль над облаками, не сходя с места,
с места под Солнцем. А здесь у меня – дача с башней,
шпионы и гжель.

Над проектом колдую – что же делать ещё под домашним арестом? —

чтобы урной пылал погребальной – километрами – дирижабль.

Снилось, что дали мне хлеб легче воздуха (объект в форме круглого хлеба),

в нём внутри стадион и в разгаре игра – миллиметр горький зерна.

Я бегу по песку, я пускаю его – в филигранное тёмное

небо.

– Осторожней, там толпы народу, даже если ты застрахована в фазе сна...

А поутру я брожу, как охранник уранового могильника, пробы беру и сверяю с таблицами, делаю йогу: себя гляжу на просвет.

Куда делось светило? Как циркуль в пальцах Коперника, я висну над явью нейтральной, смущая углы планет.

В моём вымытом доме на гравюрах шары, зазевавшиеся в очагах и зияниях, аэронавты летят на причальную мачту, но она постоянно у них за спиной.

Настоящая буря. И куча растений, которым я не знаю названия...

Хитрые пожиратели Солнца – змей воздушный и водяной.

Может, я зацепилась за какие-то грабли в своём неуклюжем наряде,

Может, я запустила компьютер не с правой, так с левой руки?

Может быть, переставила книги не так, как угодно природе?

Отражённая башня раздвоилась в пруду, как развязанные шнуры.

Только вот моя запись в тетради: Солнце не преодолело

линию горизонта. Виды не повторились. Время держалось плашмя.

Часть деревьев осела во тьме, часть прорвалась на свет пустотелый,
гневно множились безделушки, но образовался завал, защитивший меня.

И пятилась бестолково фауна в поисках рассвета, белковые и каменные твари покидали нажитые места. Из Сахары пришла эта щербатая особь с ушами, словно кассеты,
и мерещится в белых температурах на кромке ледяного щита.

Это просто, как в классе, по учебнику Пёрышкина: вагоны тормозили, но скользкий багаж с пассажиром свой путь – продолжал.
И пока разделялись начинка и контур на две чёрно-белые зоны, нахлобученный на траекторию, смещался в ночь дирижабль.

И с ночной половины планеты уже виделись неразборчиво командиры Навина, утомленное Солнце наивное на лбах перерезанных горожан
На приборной доске навзничь падали стрелки.
На поверхности борта остывали пластины. И съёживался

дирижабль.

И она принимала его за одну из небесных отдушин.

На три дня заблудилась в подвалах: пила и писала скрижаль.

И казалось ей (страшной, нелепой, ревнивой, сошедшей с катушек),

абордажи миражей, мираж абордажей роил обесточенный дирижабль.

6. Бумажный змей

Горячий ветер, ноющая корда,
распатланный сигнальный змей
плывёт оконницей Иерихона.
Червлёная верёвка вслед за ней.

Дыхательный, его перегородки
скрывают слабоумных и слепых,
что склеивают робкие коробки
и щёки ветра впихивают в них.

Тяну за тихую гипотенузу,
то растарашен змей, то уплощён,
просачиваясь вверх от шлюза к шлюзу,
парсек проныривая и эон.

Ютится в целом небе и томится,
гребя лопатками к себе и от себя.
Квадрат миллиметровки в единицы
объёма ощупью переведа.

Артачится, когда навстречу с тучи
к нему спускается иная рать.
И время набирается на зубчик,
когда ты знаешь: первым не стрелять.

С хвостом окольным вдоль всего Китая,
он прост мучительно: бумага, рейки, клей.
Он в перспективе – дама с горностаем,
Прямясь от неги маленьких когтей.

Вперед себя выстраивая ширмы,
он пробирался через тайный лаз
в прибежища убивших по ошибке,
поверх охранников и мимо нас.

Румфиус¹

Мы живём в дни, когда вспоминается мрачная игрушка, – ослик,

выпускающий из суставов
оси и хорды,
нежные стебли, их можно сжевать, перекусывая узелки.
У него образуются две челюсти на вращающейся морде.
Постамент, на котором он держится, – не шприц,
но снизу надавишь, и он валится, как
бруски в городки.

Мы читали о хлябях, но не подозревали, что горизонт
настолько расшатан.

Земля бугрится, давит снизу на постаменты, словно
ожили бурлаки

подземных дюн.

В школе направишь лупу на инсекта, и он улетал, не
приходя к прежним

масштабам.

Над угольной кучей тарацилась пара молекул, и мы
узнавали ноздрями: юг.

Кто-то из нас положил фотокамеру на ночь навзничь,

¹ Георг Румфиус, немецкий натуралист, ум. в 1702 г. на острове Амбон Индонезийского архипелага. (Здесь и далее примечания автора).

объективом в небо,

стеречь планеты.

И воздушный шар застрял в сужающемся кверху колодце
каменного двора.

Этот снимок сделала земля, теснящая постаменты.

...Когда пуговицу на тебе пришивают, закуси нитку,

чтобы в памяти
не осталась дыра.

И стали являться посланники в кинотеатрах,
гимнастических залах

и офисах.

Бестелесные, ошупью, шепотом они обещали связать ли,
соединить...

Так ослепший классификатор Румфиус на
индонезийском острове

гладил сухих чудовищ и нанизывал их на нить.

Постепенно все чада пучины предстали ему исполином
из канувшего

завета

(в акватории этой же рухнул – вниз подбородком и руки
по швам —

Люцифер),

заполняющимся стадионом, где на входе обшаривают у
турникета.

Рыбы пунцовые, как на ветру в мармеладных сутанах.

Размытые старты Натуры.

Сечения сфер.

Землетрясение в бухте Цэ

Евгению Дыбскому

Утром обрушилась палатка
на меня, и я ощутил: ландшафт
передернулся, как хохлаткина
голова.

Под ногой пресмыкался песок,
таз с водой перелетел меня наискосок,
переступил меня мой сапог,
другой – примеряла степь,
тошнило меня, так что я ослеп,
где витала та мысленная опора,
вокруг которой меня мотало?

Из-за горизонта блеснул неизвестный город
и его не стало.

Я увидел – двое лежат в лощине
на рыхлой тине в тени,
лопатки сильные у мужчины,
у нее – коралловые ступни,
с кузнечиком схожи они сообща,
который сидит в золотистой яме,
он в ней времена заблуждал, трепеща,

энергия расходилась кругами.
Кузнечик с женскими ногами.

Отвернувшись, я ждал. Цепенели пески.
Ржавели расцепленные товарняки.
Облака крутились, как желваки,
шла чистая сила в прибрежной зоне,
и снова рвала себя на куски
мантия Европы – м.б., Полоний
за ней укрылся? – шарах! – укол!

Где я? А на месте лощины – холм.

Земля – конусообразна
и оставлена на острие,
острие скользит по змее,
надежда напрасна.
Товарняки, словно скорость набирая,
на месте приплясывали в тупике,
а две молекулярных двойных спирали
в людей играли невдалеке.

Пошёл я в сторону от
самозабвенной четы,
но через несколько сот
метров поймал я трепет,
достигший моей пяты,
и вспомнилось слово *rabbit*.
И от чарующего трепетания

лучилась, будто кино,
утраченная среда обитания,
звенело утерянное звено
между нами и низшими:
трепетал Грозный,
примирия Ламарка с ящерами,
трепетал воздух,
примирия нас с вакуумом,
Аввакума с Никоном,
валуны, словно клапаны,
трепетали. Как монокино
проламывается в стерео,
в трепете аппарата
новая координата
нашаривала утерянное.
Открылись дороги зрения
запутанные, как грибницы,
я достиг изменения,
насколько мог измениться.
Я мог бы слямзить Америку —
бык с головой овальной —
а мог бы стать искрой беленькой
меж молотом и наковальней.
Открылись такие ножницы
меж временам и пространством,
что я превзошел возможности
всякого самозванства —
смыкая собой предметы,
я стал средой обитания

зрения всей планеты.
Трепетание, трепетание...

На бледных холмах азовья
лучились мои кумиры,
трепетали в зазоре
мира и антимира.
Подруги и педагоги,
они псалмы бормотали,
тренеры буги-вуги,
гортани их трепетали:
«Распадутся печати,
вспыхнут наши кровати,
птица окликнет трижды,
останемся неподвижны,
как под новокаином
на хрупкой игле.
Господи, помоги нам
устоять на земле».

Моречко – паутинка,
ходящая на иголках, —
немножечко поутихло,
капельку поумолкло.

И хорда зрения мне протянула
вновь ту трепещущую чету,
уже совпадающую с тенью стула,
качающегося на свету

лампы, заборматывающейся от ветра...

А когда рассеялись чары,
толчки улеглись, и циклон утих,
я снова увидел их —
бредущую немолодую пару,
то ли боги неканонические,
то ли таблицы анатомические...

Ветер выгнул весла из их брезентовых брюк
и отплыл на юг.

Лиман

По колено в грязи мы веками бредем без оглядки,
и сосёт эта хлябь, и живут её мёртвые хватки.

Здесь черты не проवेशь, и потешны мешочные гонки,
словно трубы Господни, размножены жижей воронки.

Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный
шелест,

как и прежде, я буду носить тебе шкуры и вереск,

только всё это блажь, и накручено долгим лиманом,
по утрам – золотым, по ночам – как свирель, деревянным.

Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,
на земле и на небе – не путь, а одно перепутье,

в этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,
не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи
на любую из точек вселенной, известной до дрожи,

только вывих тяжёлой, как спущенный мяч, панорамы,
только яма в земле или просто – отсутствие ямы.

Манёвры

Керосиновая сталь кораблей под солнышком курносом.
В воздухе – энциклопедия морских узлов.
Тот вышел из петли, кто знал заветный способ.
В остатке – отсебятина зацикленных голов.

Паниковали стада, пригибаясь под тянущимся
самолётом,
на дерматоглифику пальца похож их пунктиром бегущий
свиль.
Вот извлеклись шасси – две ноты, как по нотам.
Вот – взрыв на полосе. Цел штурман. В небе – штиль.

Когда ураган магнитный по сусекам преисподней
пошарил,
радары береговой охраны зашли в заунывный пат,
по белым контурным картам стеклянными карандашами
тварь немая елозила по контурам белых карт.

Солдаты шлёпают по воде, скажем попросту – голубой,
по рябой и почти неподвижной, подкованной на лету.
Тюль канкана креветок муаровых разрывается, как
припой,
сорвавшись с паяльника, плёнкой ячеистой плющится о
плиту.

Умирай на рассвете, когда близкие на измоте.

Тварь месмерическая, помедля, войдет в госпитальный металл.

Иглы в чашку звонко летят, по одной вынимаемые из плоти.

Язык твой будет в песок зарыт, чтоб его прилив и отлив трепал.

Минус-корабль

От мрака я отделился, словно квакнула пакля,
сзади город истериков чернел в меловом спазме,
было жидкое солнце, пологое море пахло,
и, возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя.

Я помнил стычку на площади, свист и общие страсти,
торчал я нейтрально у игрального автомата,
где женщина на дисплее реальной была отчасти,
границу этой реальности сдвигала Шахерзада.

Я был рассеян, но помню тех, кто выпал из драки:
Словно, летя сквозь яблоню и коснувшись пытаюсь
яблоком, – не удавалось им выбрать одно, однако...
Плечеуглых грифонов формировалась стая.

А здесь – тишайшее море, как будто от анаши
глазные мышцы замедлились, – передай сигарету
горизонту спокойному, погоди, не спеши...
...от моллюска – корове, от идеи – предмету...

В горах шевелились изюмины дальних стад,
я брёл побережьем, а память толкалась с тыла,
но в ритме исчезли рефлексия и надсад,
по временным промежуткам распределялась сила.

Всё становилось тем, чем должно быть исконно:
маки в холмы цвета хаки врывались, как телепомехи,
ослик с очами мушиными воображал Платона,
море казалось отъявленным, а не призрачным – неким!

Точное море! в колечках миллиона мензурок.
Скала – неотъемлема *от*. Вода – обязательна *для*.
Через пылинку случайную намертво их связуя,
надобность их пылала, но... не было корабля.

Я видел стрелочки связей и все сугубые скрапы,
на заднем плане изъян – он силу в себя вбирал —
вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,
белее укола камфары зиял минус-корабль.

Он насаждал – отсутствием, он диктовал – виды
видам, а если б кто глянул в него разок,
сразу бы зацепился, словно за фильтр из ваты,
и спросонок вошёл бы в растянутый диапазон.

Минус-корабль, цветом вакуума блуждая,
на деле тёрся на месте, пришвартован к нулю.
В растянутом диапазоне на боку запятая...
И я подкрался поближе к властительному кораблю.

Таял минус-корабль. Я слышал восточный звук.
Вдали на дутаре вёл мелодию скрытый гений,
лекально скользя, она умножалась и вдруг,
нацеленная в абсолют, сворачивала в апогее.

Ко дну шёл минус-корабль, как на столе арак.
Новый центр пустоты плёл предо мной дутар.
На хариусе весёлом к нему я подплыл – пора! —
сосредоточился и перешагнул туда...

1971 год

Ты – прилежный дятел, пружинка, скула,
или тот, что справа – буравчик, шкода,
или эта – в центре – глотнуть не дура,
осеняются: кончен концерт и школа:
чемпион, подтягивающийся, как ледник,
студень штанги, красный воротник
шеренги.

Удлинялась ртуть, и катался дым,
и рефлектор во сне завился рожком,
сейфы вспухли и вывернулись песком,
на котором, ругаясь, мы загорим,
в луна-парках чёрных и тирах сладких,
умываясь в молочных своих догадках.

В глухоте, кормящей кристаллы, как
на реках вавилонских наследный сброд,
мы считали затмения скрещённых яхт,
под патрульной фарой сцепляя рот,
и внушали телам города и дебри —
нас хватали обломки, держались, крепили.

Ты – в рулонах, в мостах, а пята – снегирь,
но не тот, что кладбища розовит,
кости таза, рёбер, висков, ноги

в тьме замесят цирки и алфавит,
чтоб слизняк прозрел и ослеп, устыдись,
пейте, партнёры, за эту обратную связь!

Как зеркальная бабочка между шпаг,
воспроизводится наша речь,
но самим нам противен спортивный шаг,
фехтовальные маски, токарность плеч,
под колпаком блаженства дрожит модель,
валясь на разобранную постель.

Дорога

Возможно, что в Роттердаме я вела себя слишком вольно: носила юбку с чулками и пальцы облизывала, чем и дала ему повод.

С тех пор он стал зазывать к себе. И вот, я надела дорогой деловой костюм и прикатила в его квартиру.

Всю ночь

он трещал о возмужании духа, метафорах, бывших жёнах.

Как ошпаренная я вылетела на воздух.

Почему он, такой ни на кого не похожий и непонятный, говорил об искусстве, с которым и так всё ясно?

На обратном пути я бы вырвала руль от злости, но какая-то глупость идти на каблуках с рулём по дороге.

Я выпустил тебя слепящим волком...

Я выпустил тебя слепящим волком
с ажурным бегом, а теперь мне стыдно:
тебе ботинки расшнуровывает водка,
как ветер, что сквозит под пляжной ширмой.

Гляжу, как ты переставляешь ноги.
Как все. Как все, ты в этом безупречен.
Застенчивый на солнечной дороге,
взъерошенный, как вырванная печень.

Собака-водка плавает в нигде,
и на тебя никто её науськивает.
Ты вверх ногами ходишь по воде
и в волосах твоих гремят моллюски.

Две гримёрши

мертвый лежал я под сыктывкарком
тяжёлые вороны меня протыкали

лежал я на рельсах станции орша
из двух перспектив приближались гримёрши

с расчёсками заткнутыми за пояс
две гримёрши нашли на луне мой корпус

одна загримировала меня в скалу
другая меня подала к столу

клетка грудная разрезанная на куски
напоминала всяческие замки

а когда над пиром труба протрубила
первая взяла проторубило

светило галечной культуры
мою скульптуру тесала любя натуру

ощутив раздвоение я ослаб
от меня отдалился нагретый столб

черного света и пошёл наклонно

СЛОВНО ОТШЕЛЬНИЦА-КОЛОННА

Сон

Этот город возник на ветровой развязке в шестом часу,
ты была права.

Собаки с керосиновыми очами, чадящие факелы,
вертолёты.

Оглядка северного оленя взвинтила суда и оставила их,
как подвёрнутые рукава.

Многопалубных лабиринтов свободно плавающие
повороты.

Легче луковой шелухи распадаются их высокие борта
среди льдов.

На танкерах начинается отстрел малолетних
поджигателей.

Начинается война и отсеивание двойников.

Улов специальных апостольских рыб – сети тянутся по
касательной.

В порту я бы закидал тебя мешками с луком или
картошкой,

пока бы ты не засмеялась и прошептала: – Иддди.

Иерусалим ничего не знает о прошлом,
уходя восвояси в 4 D.

Из цикла СОМНАМБУЛА

1. Сомнамбула пересекает МКАД

Что делает застывший в небе луг? – Маячит, всё откладывая на потом.

Он заторможен... Чем? На чём? – На том, чем стал.

Остолбенел с люпином в животах.

Он терпит самолёт и ловит ртом

два дерева; идёт на терминал, ворочая локатором кристалл.

Он никогда не совпадёт с землёй, не разберётся в аэропортах.

Зачем ему земля? Когда, оставив оптом на потом

все направления, он грезит на ходу,

бубнит в коробки маковых семян,

пусть в чертежах ещё Армагеддон,

он перебеливает всё, написанное на роду,

воздухоплаванье введя беспамятства взамен.

Он чутче, чем невидимый контакт,

небесной глубиной отторгнутый баллон.

Улавливает он, как, извиваясь, в Гренландии оттяжно лопаются льды.

Лунатик видит луг стоящим на кротах.
Он знает свой маршрут, словно нанизанный на трос –
паром,
но только не касается воды.

И тепловые башни в клубах грёз смыкают круг.
В ночи сияет мнимый обелиск.
За окружной – страна и дрейф конструкций, начатых
вразброс.
Сомнамбула и луг
Пересекаются, словно прозрачный диск закатывается за
диск,
их сектор совмещения белёс.

Сомнамбула с приказом в голове, мигалкой васильковой
озарён,
и прикусив язык, – держи баланс, не строй!
Так осторожен колокол на дне со вписанным воздушным
пузырём.
– Иди сейчас по адресу: Арбат...
Репей, чертополох, помойных баков сонь.
Шаг за поребрик – и дорога в ветроград.

2. Сомнамбула и Афелий²

² Афелий – наиболее удалённая от Солнца точка орбиты небесного тела.

Сомнамбула на потолочной балке ангара завис на
цыпочках вниз головой,

чем нанял думать о будущем двух опешивших опекунш.

Женщины

невменяемы, и та, что с хоботом, в ленноновских очках,
трясётся от злости

в такт сопернице, а ей припишем чёрный плащ нефтяной
её же ресницей,

она его раскрывает над головой, и плащ принимает вид
анатомической

почки.

Пробудится этот, висящий, а ну-ка, развяжется где-то
неплотно завязанное

сочетание

эфира и духа. Тише! Сражаются женщины, что державы,
и будь я апостолом,

ни в одной не

проронил бы ни слова.

Первая отрывает синюю ленту с катушки и рот
заклеивает поперёк.

Сопернице скотч перекидывает, и та лепит на губы от уха
до уха ленту, —

дерись молча!

Серьги снимают как на ночь глядя, и вот они сеют в
безмолвии по телам

вспышками окровавленные кокарды и крутят друг другу
уши.

Векторами потрясая, вращательные запуская прыжки

или оцепеневая.

Какое-то время
передвигаются только единым полем, как электронной
варежкой по экрану
или магнитом с исподу стола, или накрытые каменным
одеялом,
или за ними следит ворсинка железного троса,
проглоченного под

гипнозом.

Третий присутствует невидимо в поединке – держит
дерущихся в челюстях,
чертит им руки и ноги, стирает и снова уравнивает
положения;

выше и ниже
по желобам пускает суставы, проводит дуги и тотчас
навёрстывает
их наобум – осями.

Пальцы не слушаются, удивительные и словно туманные
– пальцы
собирают наощупь в руинах стеклянного дома
(землетрясение на заре)

разбросанное барахло
в чащобе порезов; только нитку фосфорную на горизонте
забывает отхлынувшая
чувствительность.

Обе так отрицают зеркально: «Не верую в того Бога,
который тебя после смерти
моей покажет.»

По пояс прыгая в координатной сетке, они запутываются и застывают.

Но тут одна другой с силой вправляет кулак в солнечное сплетение, и та

открывает рот широко,

а глаза закрывает.

Юбки: цвета слоновой кости у одной, у другой – жестяного с переливом,

шуршат, но им кажется, –

громоподобно.

Они их скидывают синхронно, потакая тишине и общей задаче.

А ну-ка, пробудится этот, висящий, развяжется где-то неплотно завязанное

сочетание эфира и духа.

Друг на друга уставились, словно гадательницы по внутренностям,

и дальномеры наводят насквозь

до самой спины:

вот бы выпуклый шейный 7-й позвонок выбить ножом кожевненным,

чтоб взвизгнула белизна,

стружка слетела б с кости, а кровь медлила появляться, но

увядает драка и громоздит промашки, удаляясь от своего центра.

Так Эльпинор, шагал ли он прямо, как слепой штатив,

или – раскинув

руки,
катился, как разрезанный цитрус, по краю крыши и
Одиссеи,

хватаясь за лестницу винтовую в мир теней, спьяну
пропустив стремянку?

Пассажир по ходу периферийный – демон
раскоординированности

и забвения.

Но дальше, совсем вдалеке от ангара, заброшенного за
городскую черту

в шиповники

и чертополохи,

за горячей дорожной развязкой, на бензоколонке

находится этой

драки – Афелий.

В баре сидит с выражением безмятежным: «Как-то
связаны две Кореи

и миллион сумасшедших коров, – их гонят через минное
поле,

забытое между границам этих корей... Связаны музыка
Брукнера

и цианистый калий».

«Всё проходит через меня, звук или цифра», – кладя на
стойку плавник,

утверждает

корифей Афелий.

3. Сомнамбула

С коричневыми губами, с жужжащими желудёвыми
волосами,

её очки потемнели сперва, затем налились молоком,
где любовники пересекались носами,
где шел вертолёт коптящий, не помнящий ни о ком.

Я слетел с перекладины и провалился в маки
с идеей подарить тебе зажигалку и нож.
Как перелезающие порог растопыренные нудные раки,
две замедленные претендентки выходят драться на ось.

Озарённые и теряющие наименования,
расцарапанные, как школьная парта,
когда я вижу материк между Шотландией, Данией
и Норвегией, до сих пор не нанесённый на карту.

Это материк дистиллированной воды и белого шума,
там нету ни распада ни огня.

Дуэлянткам взять бы в свидетели Улялюма.
И жаль, что самоубийство избегает меня.

4. Другой

Андрею Левкину

Он не мог бы проснуться от sireны в ушах.
Его слух не цепляется за разрезы гроз.
Камышей не касаясь, но скользя в камышах,
пересохшие боги по связи незримой ведут его на допрос.

Как монетка глотает на камне свои эллипсы, пока
отзвенит,
чертит оторопь своды в его животе чередой ледяных и
горячих спиц.
И ещё он похож на разрубленный луч, принимающий вид
параллельно дрейфующих стержней по сеткам таблиц.

Он так опустошён, что не знает ни что говорить, ни кому
говорить.
Есть ловушки на горных дорогах, когда подведут
тормоза,
в запредельных ракушках таких – тишины не избыть.
Ответвление в глушь, где вибрируя зреет бальзам и
очнуться нельзя.

Он выходит на пастбище к вегетарьянцу арийцу-быку.
Вот погост и река, и ряды укреплений, которым – капут.
В перспективе косарь, то-туда-то-сюда, словно капелька

по козырьку.

На могилах собаки сидят, горизонт стерегут.

Всохший лом на отвалах. Ниоткуда – игра на пиле.

В перекрестиях балок – сова: встык кулак с кулаком.

Из колючек родившийся импульс на иглах задержан во мгле.

И к застолью останков мой путник под своды влеком.

Ощущение точно как ставишь ступню на ступень
остановленного эскалатора, – сдвиг на чуть-чуть.

– Будешь ты указательный дух, – Кто сказал? Не репей
ли сказал: ты пойдёшь, как блуждающий шуп.

Говори, что ты видишь. – Я вижу ковыль и туман.

Флот в заливе. Срезаю с цепей якоря. Снова – степь и
ковыль.

Чик! – и перевернулся корабль, словно вывернутый
карман.

Льёт с меня в три ручья, словно с кия, когда взмоет
задранный киль.

И вселенная наша пуста, как себя невозможно распять:
пустота;

гвозди сжаты губами, но перехватить молоток

с правой в левую руку – как? Выпадет гвоздь изо рта.

И никто не пройдёт, чтоб разбить эти голени и проткнуть
этот бок.

– Нет, – сказали, казалось, сквозь зубы, – это штудии шантажа.

Ты ходил по воде. Ты идёшь по бассейну с пираниями в свой черёд,

наблюдая со дна за смещением собственных спин в беготне мураша.

Разберись, ты Нарцисс-эталон или наоборот – эхолот.

Он растерян, как можно от факта, что неизвестности больше нет.

Осторожен, как если бы залито фотоэмульсией всё кругом.

Но уже мириады царапин поднялись ему вслед, те, к кому прикасался и что задевал, опознали его в другом,

в полуспящем, крадущемся ошупью по чердакам (с видом жука, что толкает неровный шар: без него не пройти).

В голове его – небоскрёб горящий. Голова его пущена по рукам.

И на загородных просторах себя он чувствует взаперти.

5. Добытчики конопли

Тянет грибом и мазутом со складов пеньки канатной. Вокруг коноплёй заросшая многократная местность.

Здесь схватку глухонемых мог бы судить анатом.
Снимки канатов, сброшенных с высоты, всем хорошо известны

(так ловят сердечный ёк). Здесь с карты сбивают старицы.
На волос несовпадение даёт двух демонов стриженных,
как слово, которое пишется совсем не так, как читается.
Пыльная взвесь и сухие бухты канатов бежевых.

Сон: парусные быки из пластиковых обрезков
по помещеньям рулят в инговой форме без удержу...
Кос, как стамеска, бык. Навёртываясь на резкость,
канат промышляет изъязвом: вот так я лежу и – выгляжу.

Так двое лежат и – выглядят, а на дымовых помочах
к ним тянется бред собачий, избоченясь в эспандерах
и ложноножках пределов, качаясь, теряя точность,
кусаясь, пыжась, касаясь, мучая разбег и – запаздывая.

Ни патруль шаролиций, ни голод здесь беглецов не
достанут.

Испаряются карты, и вечность кажется близкой.
Как под папиросной бумагой – переползание стариц.
Лунатик их остановил бы, пройдясь по стене берлинской.

Он в тряпках цвета халвы, а подруга – в рубахе мреющей.
В их пальцах шуршат облатками легкие препараты.
«Вот мнимая касательная, сама по себе имеющая
форму узла...», – он начал. И с бухты – в бухты-барахты,

в обороты и протяжённость ворсистых канатов кольчатых
падает пара демонов в смех и азарт стараний,
пускаясь в длину и распатываясь вместе или по
очереди...

Памятник во дворе, выгнутый как педаль, зной закрутил
в бараний

рог. Взмокли. Расставив руки, проходят через ворота —
на рёбра свои накапливать пыльцу конопли, заморыши.
В них – оторопь глины, боящейся сушильного аппарата.
К их бисерным лбам пантеоны прилепятся, будто
пёрышки.

Неопределимой сверчка, что в идоле взялся щёлкать,
он по конопле блуждает, где места нет недотроге.
Солнечное сплетение, не знающее куда деться, он шёл,
как
развесистая вертикаль по канату, абстрактная в
безнадёге.

С громоздким листом бумаги она шагала, с опасной
бритвой, чья рукоятка бананину напоминала.
Облепленная пылью, мычала, снимая пасту
пыльцы с живота на бумагу полукружьем металла.

Я помню растение светлое на плавучих клумбах в
Голландии,
в том городе-микроскопе: глаз в кулаке и полмира.

Там коноплю просушили, просеяли и прогладили,
и сигаретки свернули распорядители пира.

Но вот увлажняются виды, хотя – не пейзаж в Толедо,
но всё ж ветерок берёт под локоток локатор
на горизонте. В травах – глаз грызуна? таблетка?
К складам близятся двое – подобны зыбям или скатам,

на чём нельзя задержаться, касания к ним заколдованы.
Тень с бумагой и лезвием счищает пыльцу с попутчика,
и клавишные рельефы горбят бумагу, словно
новая карта местности. Канаты. Клыки погрузчика.

Новая карта местности... и оцепеневшие в линзах
пустынь – совокупности стад. Цепляющаяся орава
ущелий за окоёмом. Сама осторожность мнится
меланхолией шёлка, когда начеку крапива.

Шахматисты

Два шахматных короля
делят поля для
выигрыша,
надежду для.

Все болеют за короля нефтяного,
а я – за ледяного.

О, галек, пущенных по воде, всплывающие свирели...
Так и сладим за игрой их – года пролетели.

Что ожидать от короля нефтяного?
Кульбитов,
упорства и снова
подвига, ну,
как от Леонардо,
победы в конце концов.
Кому это надо?

Ледяной не спешит и не играет соло, —
с ним вся пифагорова школа,

Женщина в самоцветах, словно Урал,
им посажена в зал,

он ловит пущенный ею флюид
и делает ход, принимая вид

тщательности абсолюта. Блеск
ногтей. Рокировка. Мозг.

У противника аура стянута к животу,
он подобен складному зонту,

а мой избранник – радиоволна,
глубина мира – его длина.

Противнику перекручивают молекулярные нити.
Ледяной король, кто в твоей свите?

За ним – 32 фигуры,
iMac, судьи и аббревиатуры,

армии, стада, ничейная земля,
я один болею за этого короля.

У него есть всё – в этом он бесподобен.
На что ж он ещё способен?

Шах – белая шахта, в которую ты летишь.
На чёрную клетку шлёпается летучая мышь.

Сом

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.

А руку окунёшь – в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
и стынет, словно ключ в густеющем замке.

Мемуарный реквием Зубареву

1

От поясов идущие, как лепестки, подмышки бюстов,
бокалы с головами деятелей, – здесь
с принципиальной тьмой ты перемешан густо,
каштаном в головах оправдан будешь весь.
Но в бессезонной пустоте среди облакоходцев
терпеньем стянут ты, исконной силой лишь,
так напряжён Донбасс всей глубиной колодца,
9,8 g – и в Штаты пролетишь.
Ты первый смертью осмелел стремления и планы.
Ты помнишь наш язык? Ступай, сжимая флаг!
Как в водке вертикаль, всё менее сохранны
черты твои. Ты изнасиловал замкнутый круг!

2

Как будто лепестки игрушечной дюймовочки,
подмышки бюстов – лопасти. Я вспоминаю миг:
как сильный санитар, ты шёл, на лоб воздев очки,

толкая ту же тьму, что за собой воздвиг.
В азовские пески закапывая ногу,
ты говорил: нащупана магнитная дуга.
И ты на ней стоял, стоял на зависть йогу,
и кругосветная была одна твоя нога.
Ты знал про всё и вся, хотя возрос в тепличности,
ты ведал, от кого идёт какая нить.
Идол переимчивости вяз в твоём типе личности,
его синхронность ты не мог опередить.

3

У мира на краю ты был в покато́й Арктике,
где клык, желудок, ус в ряду небесных тел
распространяются, но кто кого на практике
заметил и сманил, догнал, принудил, съел?
Неведомо. Здесь нет на циферблате стрелок,
кроме секундной, чтоб мерцаньем отмерять
жизнеспособность там, где Лены пять коленок
откроет мне пилот, сворачивая вспять.
Там видел я твою расправленную душу,
похожую на остров, остров – ни души!
Ты впился в океан. Тобою перекушен
ход времени, так сжал ты челюсти в тиши.

4

Ты умер. Ты замёрз. Забравшись с другом в бунгало, хмельной, ты целовал его в уста.

А он в ответ – удар! И бунгало заухало, запрыгало в снегу. Удары. Частота дыхания и злость. Ты шёл со всех сторон, ты побелел, но шёл, как хлопок на Хиву. Но он не понимал. Сломалась печь. Твой сон унёс тебя в мороз и перевёл в траву.

У друга твоего глаз цвета «веронезе», в разрезе он слегка монгололит.
Его унёс спидвей в стремительном железе.
Лежал ты исковерканный, как выброшенный щит.

5

Прозрачен, кто летит, а кто крылат – оптичен.

Язычник-октябрёнок с муравьём
стоишь, догадкой увеличен,
похоже, дальний взрыв вы видите вдвоём.
Мир шёл через тебя (ты был, конечно, чанец),
так цапля, складывая шею буквой Z,
нам шлёт, при взлёте облекаясь,

зигзаг дерьма – буквальный свой привет.
Ну, улыбнись, теперь и ты – в отрыве.
Ты сцеплен с пустотой наверняка.
Перед тобою – тьма в инфинитиве,
где стерегут нас мускулы песка.

6

В инфинитиве – стол учебный и набор
приборов, молотки на стендах, пассатижи,
учителя, подзорные в упор,
в инфинитиве – мы, инфинитива тише.
И зоокабинет – Адама день вчерашний,
где на шкафу зверёк, пушистый, как юла,
орёл-инфинитив с пером ровней, чем пашня,
сплочённая в глазу парящего орла.
Наш сон клевал Нерона нос неровный,
нам льстила смерть в кино, когда
принц крови – Кромвель падал с кровли,
усваиваясь нами без следа.

7

В год выпуска, кучкуясь и бродя вразвалку,

пятнали мы собой заезжий луна-парк,
где в лабиринте страха на развилке
с тележки спрыгнул ты и убежал во мрак.
Ты цапал хохотушек, ты душу заложил,
рядясь утопленницей от Куинджи.
Снаряд спешил под мост. Пригнитесь, пассажир!
Но этот мост установил ты ниже,
чем требовал рефлекс. Ты выведен и связан.
Ты посетил луну и даже ею был.
В кафе «Троянда» ты стал центровым рассказом,
а в КПЗ царапался и выл.

8

Молочный террикон в грозу – изнанка угля,
откуда ты не вычитаем, даже если
слоистые, как сланцы, твои дубли
всё удалённее (их тысячи, по Гессе)
от матрицы, запомнившей твой облик.
Вот энный твой двойник даёт черты Хрущёва
(поскольку оба вы напоминали бублик).
Черта по ходу закрепляется и снова
выпячивается. Я вижу, вы напротив
сидите, мажете друг друга красками
(а ваши лики цвета спин у шпротин,
чёрно-золотые) и шуршите связками.

9

Наш социум был из воды и масла,
где растекался индивид,
не смешиваясь, словно числа
и алфавит. Был деловит
наш тип существования в ширину,
чтоб захватить побольше, но не смешиваться
с основой, тянущей ко дну,
которое к тебе подвешивается.
Тот, кто свободу получал насильно,
был вроде головы хватательной среди пустот,
то в кителе глухом свистал в калибр маслины,
а ты дразнил их, свергнутых с постов!

10

Ты стал бы Северяниным патанатомки,
таким, мне кажется, себя ты видел, —
твой мешковатый шаг, твой абрис ёмкий,
в себе на людях высмеянный лидер...
Оставивший азовский акваторий,
твой ум, развёрнутый на ампулах хрустящих,

обшарив степь, вмерзая в тьму теорий,
такую арку в небе растарачил,
откуда виден я. Прощальная минута.
Я уезжаю, я в вокзал вошёл,
где пышный занавес, спадая дольками грейпфрута,
разнеживает бесконечный холл.

11

И властью моря я созвал
имеющих с тобой прямую связь,
и вслед тебе направил их в провал:
ходи, как по доске мечтает ферзь!
Координат осталось только две:
есть ты и я, а посреди, моргая,
пространство скачет рыбой на траве.
Неуловима лишь бесцельность рая.
Пуст куст вселенной. Космос беден.
И ты в кругу болванок и основ
машиной обязательной заведен.
Нищ космос, нищ и ходит без штанов.

12

Как нас меняют мертвые? Какими знаками?
Над заводской трубой бледнеет вдруг Венера...
Ты, озарённый терракотовыми шлаками,
кого признал в тенях на дне карьера?
Какой пружиной сгущено коварство
угла или открытого простора?
Наметим точку. Так. В ней белена аванса,
упор и вихрь грядущего престола.
Упор и вихрь.

А ты – основа, щёлочь, соль...
Содержит ли тебя неотвратимый сад?
То съёжится рельеф, то распрямится вдоль,
и я ему в ответ то вытянут, то сжат.

Стеклянные башни

О. С.

С утра они шли по улице в беспорядке
стеклянные башни похожие на связанные баранки
подвешенные к пустоте

просматриваясь отовсюду
сквозные пчёлы избегающие себя словно
это и есть контакты контакты
звон и если что оборона

со всех сторон через
подушечку мизинца
коленка обозреваема и цейлон
обманутые прятки
стеклянные башни

из колбочек и шариков чутких
выше среднего роста чуть-чуть
с пустыми термометрами на верхушке

бережно башню настраиваешь на себя
выгибаясь как богомол на придирчивом стебельке
входишь в неё сверяя

слегка розоватая
будто в степи на закате сохнет
стада её нюхают замечая
клёв и благо и не жаль ничего
а на деле едет она в метро погромыхивая
всегда с тобой и слегка розоватая

стеклянные башни бестеневые будто бы на дворе
мрачное утро как и века спустя
шли стеклянные башни к хлопковой белой горе
там ягнёнок стоял копытца скрестя

что для сходства берут они у того кого повстречают
они становятся им самим
их зрение разлитое различий не различает
в стеклянной башне я заменим

главное не умереть в стеклянной башне
иначе не узришь овна парящего над горою
они ошибаются мною и это страшно
чем стеклянные башни ошибаются мною

они поднимались в гору перфорация мира
и в том же темпе валились вниз
жаль ты сладёна и притвора
спала в одной из башен и никто не спас

побег из башни возможен по магнитной волне
вдохновляя воздух вокруг свистом уст

надо бежать ещё долго с ней наравне
чтоб убедиться корпус её без тебя пуст

они разбиваются и мутнеют вскоре
под подошвами кашляют их сухие осколки
стеклянные башни противоположны морю
и мне как святыне его возгонки

потому что они прозрачны в темноте их нет
возьми от черной комнаты ключ
кнут чтобы дрессировать их как молитвами хома брут
и комната пусть хохочет прыгая словно грач

ничего не увидишь ты но поймаешь звон
дубли от них отделяются стекляннее предыдущих
невидимыми осколками покрывается склон
белоснежный склон и райские кущи

Горбун

Ты сплёл себе гамак из яда
слежения своей спиной
за препятываньем взгляда
одной насмешницы к другой.

А под горбом возможна полость
где небозём на колесе,
где резали б за пятипалость
надменную, но слепы все.

Жужелка³

Находим её на любых путях
пересмешницей перелива,
букетом груш, замёрзших в когтях
температурного срыва.

И сняли свет с неё, как персты,
и убедились: парит
жужелка между шести
направлений, молитв,

сказанных в ледовитый сезон
сторяча, а теперь
она вымогает из нас закон
подобья своих петель.

И контур блуждает её, свиреп,
йодистая кайма,
отверстий хватило бы на свирель,
но для звука – тюрьма!

Точнее, гуляка, свисти, обходя
сей безъязыкий зев,
он бульбы и пики вперил в тебя,

³ Жужелка – фрагмент шлака.

теряющего рельеф!

Так искривляет бутылку вино
невыпитое, когда
застолье взмывает, сцепясь винтом,
и путает провода.

Казалось, твари всея земли
глотнули один крючок,
уснули – башенками заросли,
очнулись в мелу трущоб,

складских времянок, посадок, мглы
печей в желтковом дыму,
попарно – за спинами скифских глыб,
в небе – по одному!

Бессмертник

У них рассержены затылки.
Бессмертник – соска всякой веры.
Их два передо мной. Затычки
дна атмосферы.

Подкрашен венчик. Он пунцовый.
И сразу вправленная точность
серёдки в церемонный цоколь
вменяет зрителю дотошность.

Что – самолётик за окошком
в неровностях стекла рывками
бессмертник огибая? Сошка,
клочок ума за облаками!

Цветок: не цепок, не занозист,
как будто в ледяном орехе
рулетку, распыляя, носит
ничто без никакой помехи.

Но с кнопок обрывая карты,
которые чертил Коперник,
и в них завёртывая Тартар,
себя копирует бессмертник.

Он явственен над гробом грубо.
В нём смерть заклинила, как дверца.
Двухспинный. Коротко двугубый.
Стерня судеб. Рассада сердца.

Тренога

На мостовой, куда свисают магазины,
лежит тренога и, обнявшись сладко,
лежат зверёк нездешний и перчатка
на чёрных стёклах выбитой витрины.

Сплетая прутья, расширяется тренога
и соловей, что круче стеклореза
и мягче газа, заключён без срока
в кривящуюся клетку из железа.

Но может быть, впотьмах и малого удара
достаточно, чтоб, выпрямившись резко,
тремя перстами щёлкнула железка
и напряглась влюблённых пугал пара.

Пустыня

Я никогда не жил в пустыне,
напоминающей край воронки
с кочующей дыркой. Какие простые
виды, их грузные перевороты

вокруг скорпиона, двойной змеи;
кажется, что и добавить нечего
к петлям начал. Подёргивания земли
страхивают контур со встречного.

Сцена из спектакля

Р. Л.

Когда, бальзамируясь гримом, ты полуодетая думаешь, как взорвать этот театр подпольный, больше всего раздражает лампа дневного света и самопал тяжёлый, почему-то двуствольный.

Плащ надеваешь военный – чтоб тебя не узнали — палевый, с капюшоном, а нужно – обычный, чёрный; скользнёт стеклянную глыбой удивление в зале: нету тебя на сцене – это всего запрещённой!

Убитая шприцем в затылок, лежишь в хвощах заморозки —
играешь ты до бесчувствия! – и знаешь: твоя отвага для подростков – снотворна, потому что нега — первая бесконечность, как запах земли в причёске.

Актёры движутся дальше, будто твоя причуда не от мира сего – так и должно быть в пьесе. Твой голос целует с последних кресел пьянчуга, отталкиваясь, взлетая, сыплясь, как снег на рельсы...

Пётр

Скажу, что между камнем и водой
червяк есть промежуток жути. Кроме
червяк – отрезок времени и крови.
Не тонет нож, как тонет голос мой.

А вешний воздух скроен без гвоздя,
и пыль скрутив в горящие девятки,
как честь чужую бросит на лопатки,
прицельным духом своды обведа.

Мария, пятен нету на тебе,
меня ж давно литая студит ересь,
и я на крест дарённый не надеюсь,
а вознесусь, как копоть по трубе.

Крик петушиный виснет, как серьга
тяжёлая, внезапная. Играют
костры на грубых лирах. Замолкают
кружки старух и воинов стога.

Что обсуждали пять минут назад?
Зачем случайной медью похвалялись,
зачем в медведей чёрных обращались
и вверх чадящим зеркалом летят?

Из города

Как вариант унижает свой вид предыдущий,
эти холмы заслоняют чем ближе, тем гуще
столик в тени, где моё заглядение пьёт
кофе, не зная, какие толпятся попытки
перемахнуть мурашиную бритву открытки —
через сетчатку и – за элеватор и порт.

Раньше, чем выйти из города, я бы хотел
выбрать в округе не хмелем рогатую точку,
но чтобы разом увидеть дворец и костёл,
взлёт на Андреевском спуске, и поодиночке —
всех; чтоб гостиница свежая глазу была,
дух мой на время к себе, как пинцетом, брала.

Шкаф платяной отворяет свои караул-створки,
валяются шмотки, их души в ушке у иголки
давятся – шубы грызутся и душат пиджак,
фауна поз человеческих – другдружикина пища! —
воет буран барахла, я покину жилище,
город тряпичный затягивая, как рюкзак.

Глаз открываю – будильник зарос коноплём,
в мухе точнейшей удвоен холодный шурупчик,
на полировке в холодном огне переплёт
книги святой, забываю очнуться, мой копчик

весь в ассирийских династиях, как бигуди,
я над собою маячу: встань и ходи!

Я надеваю пиджак с донжуанским подгоном,
золотовакая лень ноготком, не глаголом
сразу отводит мне место в предметном ряду:
крылышком пыли и жгутиком между сосисок,
чем бы еще? – я бы кальцием в веточке высох,
тоже мне, бегство, – слабея пружиной в меду!

Тотчас в районе, чья слава была от садов,
где под горой накопились отстойные тыщи,
переварили преграду две чёрных грязищи —
жижа грунтовая с мутью закисших прудов,
смесь шевельнулась и выбросила пузыри.
Села гора парашютом, вдохнувшим земли.

Грязь подбирает Крупицу, Столбы, Человека,
можно идти, если только подошвами кверху...
Был ли здесь город великий? – он был, но иссяк.
Дух созидания разве летает над грязью?
Как завещание гоголевское – с боязни
вспомнить себя под землёй, – начинается всяк
перед лавиной, но ты, растворительница
брачных колец и бубнилка своих воплощений,
хочешь – в любом из бегущих (по белому щебню,
к речке, на лодках и вплавь) ты найдёшь
близнеца,
чтобы спастись. Ты бежишь по веранде витой.

Ты же актриса, ты можешь быть городом, стой!

В домах для престарелых...

В домах для престарелых широких и проточных,
где вина труднодоступна, зато небытия – как бодяги,
чифир вынимает горло и на ста цепочках
подвешивает, а сердце заворачивает в бумагу.

Пусть грунт вырезает у меня под подошвами
мрачащая евстахиевы трубы невесомость,
пусть выворачивает меня лицом к прошлому,
а горбом к будущему современная бездомность!

Карамельная бабочка мимо номерной койки
ползёт 67 минут от распятия к иконе,
за окном пышный котлован райской пристройки,
им бы впору подумать о взаимной погоне.

Пока летишь на нежных, чайных охапках,
видишь, как предметы терпят крах,
уничтожаясь, словно шайки в схватках,
и – среди пропастей и взвесей дыбится рак.

Тоннели рачьи проворней, чем бензин на солнце
и не наблюдаемы. А в голове рака
есть всё, что за её пределами. Порциями
человека он входит в человека

и драться не переучивается, отвечая на наркоз —
наркозом. Лепестковой аркой
расставляет хвост. Сколько лепета, угроз!
Как был я лютым подростком, кривлякой!

Старик ходит к старику за чаем в гости,
в комковатой слепоте такое старание,
собраны следы любимой, как фасоль в горстку,
где-то валяется счётчик молчания, дудка визжания!

Рвут кверху твердь простые щипцы и костёлы,
и я пытался чудом, даже молвой,
но вызвал банный смех и детские уколы.
Нас размешивает телевизор, как песок со смолой.

Чёрная свинка

1

Яйцо на дне белоснежной посуды как бы ждёт поворота.

Тишина наполняет разбег этих бедных оттенков.

Я напрягаю всю свою незаметность будущего охотника:
на чёрную свинку идёт охота.

Чёрная свинка – умалишенка.

Острая морда типичного чёрного зонтика.

2

Утренний свет отжимается от половиц крестиками пылинки.

Завтрак закончен, и я запираюсь на ключ в облаке напряжённой свободы.

Цель соблазнительна так, будто я оседлал воздушную яму.

Как взгляд следящего за рулеткой, быстрое рыльце у чёрных свинок.

Богини пещер и погашенных фар – той же породы.
Тихо она семенит, словно капелька крови, чернея,
ползёт по блестящему храму.

3

Чёрная свинка – пуп слепоты в воздухе хвостовства,
расшитом павлинами.
Луну в квадратуре с Ураном она презирует, зато
запросто ходит с Солнцам в одном тригоне.
Пропускай её всюду – она хочет ловиться!
Вы должны оказаться друг к другу спинами.
Во время такой погони время может остановиться.

4

Я её ставил бы выше днепровских круч.
Я бы её выгуливал только в красных гвоздиках.
Её полюбил бы чуткий Эмиль Золя.
Цирцея моей одиссеи, чур меня, чур!
Её приветствуют армии стран полудиких,
где я живу без календаря.

Псы

Ей приставили к уху склерозный обрез,
пусть пеняет она на своих вероломных альфонсов,
пусть она просветлится, и выпрыгнет бес
из её оболочки сухой, как январское солнце.

Ядовитей бурьяна ворочался мех,
брех ночных королей на морозе казался кирпичным,
и собачий чехол опускался на снег
в этом мире двоичном.

В этом мире двоичном чудесен собачий набег!
Шевелись, кореша, побежим разгружать гастрономы!
И витрина трещит, и кричит человек,
и кидается стая в проломы.

И скорей, чем в воде бы намок рафинад,
расширяется тьма, и ватаги
между безднами ветер мостят и скрипят,
разгибая крыла для отваги.

Разматается кровь, и у крови на злом поводе
мчатся бурные тени вдоль складов,
в этом райском саду без суда и к стыду
блещут голые рыбы прикладов.

После залпа она распахнулась, как чёрный подвал.
Её мышцы мигали, как вспышки бензиновых мышек.
И за рёбра крючок поддевал,
и тащил её в кучу таких же блаженных и рыжих.

Будет в масть тебе, сука, завидный исход!
И в звезду её ярость вживили.
Пусть пугает и ловит она небосвод,
одичавший от боли и пыли.

Пусть дурачась, грызёт эту грубую ось,
на которой друг с другом срастались
и Земля и Луна, как берцовая кость,
и, гремя, по вселенной катались!

Багульник

В подземельях стальных, где позируют снам мертвецы,
провоцируя гибель, боясь разминуться при встрече,
я купил у цветочницы ветку маньчжурской красы —
в ней печётся гобой, замурованный в сизые печи.

В воскресенье зрачок твой шатровый казался ветвист,
и багульник благой на сознание сыпал квасцами.
Как увечная гайка, соскальзывал свод с Близнецами,
и бежал василиск от зеркал, и являлся на свист.

Волосы

Впотьмах ты постриглась под новобранца,
а говоришь, что тебя обманули,
напоминая всем царедворца,
с хлебом и флагом сидишь на стуле
и предлагаешь мне обменяться
на скипетр с яблоком. Нет приказа
косам возникнуть – смешна угроза,
но жжём твои кудри, чтоб не смеяться.

Всех слепящих ночами по автостраде
обогнали сплетённые, как параграф,
две развинченных, чёрных летучих пряди,
тюленям подобны они, обмякнув,
велосипедам – твердея в прыти,
протерев на развилке зеркальный глобус,
уменьшались они, погружаясь в корпус
часов, завивающихся в зените.

Угольная элегия

Под этим небом, над этим углем
циклон выдувает с сахарным гулом
яблоню, тыкву, крыжовник, улей,
зубчатыми стайками гули-гули
разлетятся и сцепятся на крыльце,
страхивая с лапки букровку Цэ.
В антраците, как этажерка в туче,
на солнце покальвает в чёрном чуде
барабанчик надежд моих лотерейных —
что тащит со дна своего уголь?
Шахтёры стоят над ним на коленях
с лицами деревенских кукол.

Горняки. Их наружности. Сны. Их смерти.
Их тела, захороненные повторно
между эхом обвалов. Бригады в клетях
едут ниже обычного, где отторгнут
камень от имени, в тех забоях
каракатичных их не видать за мглою.
Кладбища, где подростки в Пасху
гоняют на мотоциклетах в касках,
а под касками – уголь, уголь...
Их подруги на лавках сидят в обновках,
и кузнечик метит сверкнувший угол
обратной коленкой.

На остановке

объятая транспортным светом дева,
с двумя сердцами – когда на сносях,
опирается на природу верой,
может ходить по спине лососьей,
чернота под стопой её в антрацитах,
как скомканная копирка в цитатах,
нежит проглоченное в Вавилоне
зеркало – ловишь его на сломе!

Подземелье висит на фонарном лучике,
отцентрованном, как сигнал в наушнике.
В рассекаемых глыбах роятся звери,
подключённые шерстью к начальной вере.

И углем по углю на стенке штольни
я вывел в потёмках клубок узора —
что получилось, и это что-то,
не разбуженное долбежом отбора,
убежало вспыхнувшей паутинкой
к выходу, выше и... вспомни: к стаду
дитя приближается,

и в новинку

путь и движение

ока к небу.

Реальная стена

Мы – добыча взаимная вдали от условного города.
Любим поговорить и о святынях чуть-чуть.
Со скул твоих добывается напылённое золото,
дынное, я уточнил бы, но не в справедливости суть.

Нас пересилит в будущем кирпичная эта руина —
стена, чья кладка похожа на дальнейе стадо коров.
Именно стена останется, а взаимность
разбредётся по свету, не найдя постоянных углов.

Лесенка

В югендстиле мансарда. Я здесь новичок.
Слышал я, как растёт подколпачный цветок.

Ты сидела на лесенке – признанный перл,
замер я, ощущая пределов замер.

Ты была накоплением всего, что в пути
приближала к себе, чтоб верней обойти.

Пастырь женщин сидел здесь и их земледел.
Страх собой одержим был, как шёлковый мел.

Все себе потакали. Смеялся Фома.
Потакая себе, удлинялась тюрьма.

Дух формует среду. И формует – дугой.
Распрямится – узнаешь, кто был ты такой!

Например, если вынуть дугу из быка,
соскользнёт он в линейную мглу червяка.

Вопрошающий, ищущий нас произвол
той дугую сжимал это время и стол.

Был затребован весь мой запас нутряной,

я в стоячей воде жил стоячей волной.

Но ушёл восвояси накормленный хор
вместе с Глорией, позеленевшей, как хлор,

с деловыми девицами на колесе
спать немедленно на осевой полосе.

Тут костёлы проткнули мой череп насквозь.
Нёс я храмы во лбу, был я важен, как лось.

А из телеэкранов полезла земля.
Эволюция вновь начиналась с нуля.

Выряжался диктатор в доспехи трибун,
но успехов природы он был атрибут.

Думал я о тебе, что минуту назад
нашу шатию тихо вводила в азарт.

Я б пошил тебе пару жасминных сапог,
чтоб запомнили пальцы длину твоих ног.

А на лесенке – тьма, загадочная тьма.
Я тебя подожду. Не взберёшься сама.

Тикает бритва в свирепой ванной...

Тикает бритва в свирепой ванной,
а ты одна,
как ферзь, точёный в пене вариантов,
запутана,

и раскалённый лен сушильных полотенец,
когда слетает с плеч,
ты мнишь себя подругой тех изменниц,
которым некого развлечь.

На холоду, где коробчатый наст,
и где толпа разнообразней, чем
падающий с лестницы, там нас
единый заручает
час и глаз.

Львы

М. б., ты и рисуешь что-то
серьёзное, но не сейчас, увы.

Решётка

и за нею – львы.

Львы. Их жизнь – дипломата,
их лапы – левы, у них две головы.
Со скоростью шахматного автомата
всеми клетками клетки овладевают львы.

Глядят – в упор, но никогда – с укором,
и растягиваются, словно капрон.
Они привязаны к корму, но и к колокольням
дальним, колеблющимся за Днепром.

Львы делают: ам! – озирая закаты.
Для них нету капусты или травы.
Вспененные ванны, где уснули Мараты, —
о, львы!

Мы в городе спрячемся, словно в капусте.
В выпуклом зеркале он рос без углов,
и по Андреевскому спуску
мы улизнём от львов.

Львы нарисованные сельв и чащоб!
Их гривы можно грифелем заштриховать.
Я же хочу с тобой пить, пить, а ещё
я хочу с тобой спать, спать, спать.

Еж

Еж извлекает из неба корень – тёмный пророк.
Тело Себастиана на себя взволок.

Еж прошёл через сито – так разобщена
его множественная спина.

Шикни на него – погаснет, будто проколот.
Из-под ног укатится – ожидай: за ворот.

Еж – слесарная штука, твистующий недотёп.
Урны на остановке, которые скрыл сугроб.

К женщинам иглы его тихи, как в коробке,
а мужчинам сонным вытаптывает подбородки.

Исчезновение ежа – сухой выхлоп.
Кто воскрес – отряхнись! – ты весь в иглах!

Из наблюдений за твоей семейной жизнью

Ты – мангуст в поединке с мужчинами, нервный мангуст.
И твоя феодальная ярость – взлохмаченный ток.
Смольным ядом твой глаз окрылённый густ.
Отдышись и сделай ещё глоток.

Игра не спасает, но смывает позор.
Ты любишь побоища и обморок обществ.
Там, где кровь популярна, зло таить не резон,
не сплетать же в психушке без зеркальца косы наощупь!

Твой адамоподобный, прости, обезьян, убежал на море,
говорят, оно может рассасывать желчь однолюбного мира.
Бульки в волнах, словно банки на сельском заборе, —
это девицы на шпильках рванули в гаремы Каира.

Мне непонятен твой выбор

Мне непонятен твой выбор.

Кого?

Ревнителя науки,

что отличает звон дерева от мухи

за счёт того, что выпал

снег?

Нет,

здесь, я бы сказал, какая-нибудь тундра ада,

и блёклые провидцы с бесноватой

причёской, как у пьющих балетоманов,

тебя поймают в круг протянутых стаканов.

Здесь

нет разницы в паденье самолёта, спички,

есть пустота, где люди не болят,

и тысячи сияльных умываний твой профиль по привычке

задерживает на себе, как слайд.

Ты можешь дуть в любую сторону и – в обе.

А время – только по нарощке.

Учебником ты чертишь пантеру на сугробе.

Такая же – спит на обложке.

Удоды и актрисы

В саду оказались удоды,
как в лампе торчат электроды,
и сразу ответила ты:
– Их два, но условно удобно
их равными принять пяти.

Два видят себя и другого,
их четверо для птицелова,
но слева садится ещё,
и кроме плюмажа и клюва
он воздухом весь замещён.

Как строится самолёт,
с учётом фигурки пилота,
так строится небосвод
с учётом фигурки удода,
и это наш пятый удод.

И в нос говоря бесподобно:
– Нас трое, что, в общем, угодно,
ты – Гамлет, и Я и Оно.
Быть или... потом – как угодно...
Я вспомнил иное кино.

Экспресс. В коридоре актриса

глядится в немое окно,
вся тренинг она и аскеза,
а мне это всё равно,
а ей это до зарезу.

За окнами ныло болото,
буря, как злая банкнота,
златых испарение стрел,
сновало подобье удода,
пульсировал дальний предел.

Трясина – провисшая сетка.
Был виден, как через ракетку,
удода летящий волан,
нацеленный на соседку
и отражённый в туман.

Туда и сюда. И оттуда.
Пример бадминтона. Финты.
По мере летанья удода
актриса меняла черты:

как будто в трёх разных кабинках,
кобета в трёх разных ботинках —
неостановимый портрет —
босая, в ботфортах, с бутылкой
и без, существует и – нет,

гола и с хвостом на заколку,

«под ноль» и в овце наизнанку,
лицо, как лассо на мираж,
навстречу летит и вдогонку.
Совпала и вышла в тираж.

Так множился облик актрисин
и был во весь дух независим,
как от телескопа – звезда,
удод, он сказал мне тогда:

Так схожи и ваши порывы,
как эти актрисы, когда вы
пытаетесь правильно счесть
удодов, срывающих сливы.
– Их пятеро или..? – Бог весть!

Паук

Лавируя на роликах впотьмах, я понимаю:
вокруг – вибрирующая страна.
Паука паутина немая
отражает равностороннюю дрёму. И сатана
и кобра были б робеющей парой возле.
Закононый паук тише, чем телефон мой в Базеле.

Начнём с середины: разлетелась шобла,
а он ещё как-то ползал.
Эхо Москвы и затворник моей головы.
Вечный юбиляр, он секторный зал снял,
чем показал, что идёт на «вы».
Водоворот безнаказанных запятых
и – крюком под дых.

Его отказ совершенству, как лезвием по стеклу.
Пионер, отведи окуляры!
Паук не напрашивался к столу.
Перепуган, как если бы к горлу
поднесли циркулярку...
Он прибег к прозрачности, кошмары воспроизведя.
Ловит сон.
Паутинка сработает погода.

Тень от графина ребристого на скатерти с мухами —

снова – он, меняющий муз на мух.
Обеспеченный слухами
сухопарый дух,
он заперся между строк,
паук.

Начнём с середины. С самостоятельной тишины.
Паук изнутри сграбастан нервной системой.
Шаровая молния и разрывы воли его сведены
в вечный стоп, содрогающий стены
панциря инсекта.
поцарапанный ноль, мой паук, ваш – некто.

Поцарапанный ноль – иллюминатор падающего боинга,
когда человеки грызли стёкла и не достигали.
Решётчатый бег однобокий, дающий бога, —
ты. Ах, время, как цепочка на шее балаболки,
переминается...
Совпали
силы твоих расторопных касаний.
Паук, спи,
Везувий.

Начнём с середины. Ты дорос до ядра Селены,
плетя небытия алгебраические корзины,
«любовь моя, цвет зелёный».
Царь середины,
замотавший муху в тусклую слюну,
возвращая изваяние – сну.

Паук мой, пастух смертей.
Слюнтяй, разбросанный по вселенной.
Тебе – вертеть
самое себя, набычась обыкновенной
злостью и решительностью, мой бывший друг,
натасканный на «вдруг».

Тип. Октябрь

Шёл он кверху, однако, впотьмах поломался бесшумно.
Помятый, как полотенце шахтёра и бессильный,

как сброшенный ремень.

Он не нашёл ничего, а предназначения не
предполагалось.

Самообман, как дырка для гвоздика в календаре,
на обложке которого – город (план сверху), поэтому
отверстие похоже на рекламный дирижабль,

но его дважды нет.

Я жил на поле Полтавской битвы

поэма

Вступление

Беги моя строчка, мой пёс, – лови! – и возвращайся к ноге
с веткой в сходящихся челюстях, и снова служи дуге, —

улетает посылка глазу на радость, а мышцам твоим на
работу,
море беру и метаю – куда? – и море приспосабливается
к полёту,

уменьшаясь, как тень от очков в жгучий день, когда их
на пробу
приближают к лицу, и твердея, как эта же тень, только
чтобы

лечь меж бумагой и шрифтом и волниться во рту языком;
наконец,
вспышка! – и расширяется прежнее море, но за срезом
страниц.

Буквы, вы – армия, ослепшая вдруг и бредущая краем
времен,

мы вас видим вплотную – рис ресниц, и сверху – риски колонн, —

брошена техника, люди, как на кукане, связаны температурой тел,
но очнутся войска, доберись хоть один до двенадцатислойных стен

Идеального Города, и выспись на чистом, и стань – херувим,
новым зреньем обводит нас текст и от лиц наших неотделим.

Всё, что я вижу, вилку даёт от хрусталика – в сердце и мозг,
и, скрестившись на кончиках пальцев, ссыпается в лязг

машинописи; вот машинка – амфитеатр, спиной развёрнутый к хору,
лист идёт, как лавина бы – вспять! – вбок – поправка – и в гору.

Выиграй, мой инструмент, кинь на пальцах – очко! – а под углом
иным – те же буквы летят, словно комья земли, и лепится холм,

чуть станина дрожит, и блестят рычажки в капельках масла,

а над ними – не раскрытые видом гребешки душистые
смысла,

сам не лёгок я на подъём, больше сил против лени
затрачу,
а в машинку заложены кипы полётов и способ движенья
прыгучий!

Правь на юг, с изворотом, чтоб цокнули мы языком над
Стокгольмом,
уцепившись за клавишу – Ъ – мы оставим
первопрестольный

снег. Я обольщён жарой. Север спокоен, как на ботинке
узел, —
там глубже он занят собой, чем резче ты дёрнешь
морозный усик.

Не в благоденствии дело, но чтоб дух прокормить,
соберём травы,
на хуторах плодоносных петляя в окрестностях тёплой
Полтавы,

вот я, Господи, весь, вот мой пёс, он бежит моей властью
васильками – Велеса внук – и возвращается – Святой
Власий.

1.1. Глава первая, в которой повествуется о происхождении оружия

Где точка опоры? Не по учебнику помню: галактики
контур остист,
где точка опоры? Ушедший в воронку, чем кончится
гаснувший свист?

Или перед собой её держит к забору теснящийся
пыльный бурунчик,
или на донце сознания носит её трясогузка – пряткий
стаканчик?

Но уронится заверть в расцепе с небесной зубчаткой, а
птичка
вдоль отмели прыг-скок и ушла... Надо мной ли висит
эта точка?

В сравнении с ней элементы восьмого периода – пух,
дирижабли,
так тяжела эта точка и неустойчива – лишь время её
окружает,

лишь ошмётки вселенной и палочки-души (две-три),
прежде чем
утрачиться вовсе, край иглы озирают, и – нет глубже ям.

Словно газета, заглавьем читая концовку, вращаясь и
рея,
ближе к точке кривляются все, – кто же мог быть смешон
перед нею?

От неё отделяются гладкие мелкие камушки – их пустота
облизала —
это души оружия, и сразу становится тесно в штабах и
казармах.

Обнаружились души оружия, намечаясь в эфире, как
только
в лоск притёрлись приклады к ладоням, в идее – обычная
галька.

Меж людьми побродила винтовка и знает, что такое удар
по улыбке,
застилая полвоздуха, пуля из-под ног извергает
булыжник.

Ах, чем палить по мишеням новобранцами ада, лучше
пить в одиночку!
Хмельное тело затылком нащупывает самовитую точку.

Она свободней, чем оборванный трос, чертящий на
воздухе лепестки,
гуляет – где хочет, и в неё никогда не прицеливаются
стрелки.

Это точка опоры галактики – не вершина, а низ блаженства,
от неё и пушка и нож, их морозное совершенство.

1.2. Первая пушка

Первая пушка была рассчитана на любопытство врага и число частей её – по числу врагов.

На левом берегу Ворсклы возвели водяные меха, а между ними – колонну со скобкой для рычагов, по краям которых подцеплены широкие платформы.

В ботфортах, заказанных для данного офорта, люди вереницей шли с платформы на платформу
и обратно,

такие веса поочерёдно давили на меха, получался массовый насос, выталкивающий два заряда и дающий общее распределение греха.

Меха и колонна покоились на шестиколёсном помосте, а вдоль реки пробегала кожаная кишка, надуваясь от насоса, она гнала колёса и вместе всех артиллеристов, удивлённых слегка.⁴

⁴ См. памятник Шевченко в Полтаве, автор – Кавалеридзе. Он похож на гору летящих друг с дружки тележек, чей суммарный вектор упирается в нуль, и скатиться, поборов мёртвую точку, тележка не может. Смыслы пересекаются и в том, что пушка вводит, а памятник – выводит целые нации из мёртвой точки, – я её называю мушкой, или – во втором случае – чистой гравитацией.

Копиисты писали машину на облаке, палящую лагом,
в этом был урок мореходного и авиа-духа,
и косила врага, как вертлюг, разболтанная костомаха,
колёса за её спиной напоминали два уха.
Пушка могла быть разобрана на мельчайшие частички
и разнесена по свету в нагрудных карманах армий,
спрятана за щеками или вплетена в косички
и т. п., что ещё не перенято нами.

Представим, что враг стоит напротив ствола.
Выстрел! – стрела соединяет грудь и спину,
тело руками обхватывает бесконечную машину,
тщится, становясь меньшим узлом большего узла.
И немедленно выравниваются весовые качели,
а тот солдат, что составил перевес,
взлетает, как завитушка мадонны Ботичелли,
и уходит за Малобудищанский лес.

И спалили конструкцию, в дыму не увидев ни зги.
Кто знал, что паровоз эту тьму растревожит?
«У него, – писал Маркс, – было в сущности две ноги,
которые он попеременно поднимал, как лошадь.»⁵

⁵ Маркс К. Капитал. Паргиздат, 1936, т. 1, с. 311.

1.3. Ягнёнок рассказывает о распре двух братьев, которые пытались поймать его для жертвоприношения, и о том, как родился нож

Казалось, неба поперёк
шли ординарные скоты,
крутя ухмылками хвосты,
и чаяли уснуть. Пастух
меж них похож на поплавок,
нанизанный на чистый дух.

Варилась тонна комарья
и каждая из единиц
мир обегала вдоль границ,
их сумма жгла пружиной шерсть,
мне было больно. Думал я:
есть ангел и контрангел есть,

чьи чёрно-белые ряды,
как в упаковке для яиц,
и, с точки зрения овец,
они выносливее всех
и неделимы. Завиты
галактики – их яркий мех.

Я убегал от них, родных,
в скачке мой пыл – угольник сил,
в скачке я сахаром застыл,
растаял и возник, паря,
я знал, что изо всех моих
ног не получится ружья.

Бег, из чего была земля?
как два рельефа на одной
стене, они гнались стеной
за мной, о, их синхронный рёв
проснувшихся в крапиве. Я
расслабился в тени врагов.

За степью пролегал каньон:
скала, обрыв, скала, обрыв.
На скалах жил десяток трав,
висел на бурых корешках
травинок в пропастях озон
в каких-то призрачных мешках.

Из-за луны и мимо нас
катился весь в слезах клубок
простых колючек. Я залёг.
Они – искать! От сих до сих.
Но друг на друге взгляд увяз
преследователей моих.

Открылся чудный разворот
земных осей, я заскользил
вдоль смерти, словно вдоль перил
в зоосаду вокруг оград,
где спал сверхслива-бегемот
и сливу ел под смех солдат.

Масштаб менялся наугад.
Мой Боже, ты не есть часы.
Я есмь не для колбасы,
история – не след во мглу.
Зачем вцепился в брата брат,
дай им двуручную пилу!

Сближаются. Взаимен слух.
И шаг. Мерцают кулаки.
Как проволочные мотки,
концы друг в друге ищут. Вящ
удар был брата брату в пах,
вспых! – над вознёй взлетела вещь.

Та вещь была разделена
в пропорции, примерно, пять
к двум, что поменьше – рукоять,
побольше – лезвие; соврёшь,
сказав: длина, ещё длина...
Спина подсказывает: нож,

ножа, ножу, ножом, ноже.

В проёме занавеса клин
так разбегается в экран,
как нож обнял бы небеса.
Он здесь, и – нет его уже.
Но это принцип колеса.

Вслед за блуждающим ножом
уходит человек-магнит.
Нож! оглянись!
Моих копыт
раздвоенных печать в кружке
Земли.

Ночь.

Воздух пережжён.

Душа на подкидной доске.

1.4. Первое деловое отступление, написанное в моём саду, расположенном на поле Полтавской битвы

Ребёнки – зайцеобразны: снизу два зуба, а щёки! Так же
и зайцы —

детоподобны.

Злобны зайцы и непредсказуемы, словно осколки серы
чиркнувшей

спички.

Впереди мотоцикла и сзади – прыг-скок! – живые кавычки!

После октябрьских праздников по вечерам они сигают в мой сад,
наисмелейший проводку перегрызает и, сам чернея,
отключает

свет.

Я ж защищаю саженец северного синапа от их аппетита в одиночестве полном, где нету иллюзий единства и авторитета,
и сколько-то старых привычек не противоречат всякой новой привычке.

Я покупаю в хозмаге мешок мышеловок – розовые дощечки
с железным креплением, как сандалия Ахиллеса, – где пятка
мифологическая, там у меня для приманки насажен колбасный

кружок.

А на заре обхожу мышеловки – попадают бабочки и полёвки
и неизвестного вида зверьки типа гармошки в роговой окантовке.

Всем грызунам я горло перерезаю и вешаю их над ведром
головой вниз,
чтобы добыть множитель косоухого страха – кровь крыс.

Скисшую кровь я известью осветляю и побелочной

щёткой

мажу остовы и скелетные ветви погуще, так, чтоб стекало с коры.

В сумерках заячье стадо вокруг сада лежит, являя сомнений бугры, —

да! – ни один из них не пойдёт хоть за билет в новый Ноев ковчег

через ограду – столь щепетилен и подавлен мой враг.

Ножницы-уши подняли и плачут, а я

в жизни не видел зайца и крысу

в обнимку!

Я же падаю в кресло-качалку листать руководство по садоводству,

днём тепло ещё и ужи – змеями здесь их не называют — миллионы км проползают под солнцем, не сходя с места, вот они на пригорке царят и, когда я их вижу, внезапно, словно чулок ледяной мне надевают – это хвощёвое чувство.

Ух! Книгу читать, думать или вспоминать, а я выбираю – смотреть!

Сразу я забываю зайцев осадных и яблоню,

я забываю того, кого вижу.

Что это в небе трепещет леса повыше и солнца пониже?

В этом краю, где женщины до облаков и прозрачны,

зрю ли я позвонок, что напротив пупа, и золотое меж них расстояние,

линию, нить, на какой раздувается жизнь на хромосомах,

загулов,
крепостной гарнизон, воеводы, солдаты обеих держав,
пришедших

к позору, к победе, —
я припомню их всех, через полтавское поле сверкая
на велосипеде.

Вижу: копьё разбивает солдату лицо, вынимая из-под
верхних зубов

бездну.

Слышу: вой электрички, подруливаю

к переезду,

миную хозяйство вокзальное, клинику скорби, шоссе —
езде

долгий путь,

наконец, — огород, в нём лопата торчит, землю пробуя

перевернуть.

Пейзаж перепрыгивал время, а время перепрыгивало
человека:

стоп!

Тормозима надеждой, сабля сыплется над головой,

как верёвочный трап.

Кого пополам развалили, душой открывает шоссе,
уходящее

клином на Гадяч,

вот рыцарь помпезный, рогаткой двоясь, меж машинами
скачет,

неискореним был боец, но увидел в автобусе панну и
мчится

потрогать —

за лошадиную морду он принимает на поручне согнутый
локоть,
и рухнул долой офицер, драгоценный драгун, и
подняться

не может,
а лошадь

ноги забрасывает на солнце лямками сумки
через плечо.

Кто мог погибать по три раза, по три раза погиб,
и погиб бы ещё и ещё.

Куда же вы, шведы?⁶ На месте больничного корпуса с
надписью

«психиатрия»

они умирали, сражаясь с людьми, по чьим лицам мазнула
стихия,
дрались пациенты – о, скважины вырванной мысли! –
трубили

и кисли,

на огородных работах бордовый бурак бинтовали, целуя.

Кто пал

на складе железнодорожном, тот встал, словно взрыв
из-под штабеля шпал.

Ты, начавший ещё при Петре, муравей, через поле твоё
странствие

длится!

В гуще боя я б мог продержаться не долее вечности,
заголяемой

блицем,

⁶ Слова Карла XII, обращённые к отступающим полкам соотечественников.

в гуще боя я на раскладушке лежал бы в наушниках
музыки мира

под абрикосой.

Перепрячет ли время меня? Переправа. Наушники –
мостик

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.